

---

## К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

**Виктор Греков**  
(г. Белев)

### ...БЫЛ ЭХОМ РУССКОГО НАРОДА



Пушкин в нас! — и это безраздельно. В нас Пушкин как дух национального, словно земное притяжение, но и как корневая превечность всего растущего, как связь с материком русскости во всех гранях необъятной во времени Руси.

Он — в пышном дворце и в лачуге убогой, он в сердце пламенного юношества и в непреходящей молве, он в громе победы и в слезах огорчения от неудачи... И да простят мне крамольное (когда предстоит превысить свои полномочия): а что если он, Пушкин наш, тем и велик, что духовно национален, а все что сверх того, то — «от лукавого...»?! То есть, первично, все-таки, это состояние души народного певца, но в неразрывной связи с судьбой отчизны, с думами о русском человеке во всей многомерной полноте его исторического развития.

В нем привычны,— и потому естественно гармоничны,— и удаль молодца, и кроткость природная совестливого богатыря, какого-нибудь былинного Добрыни Никитича или Алеши Поповича, а то и вместе взятых: все ему впрок, как заметил бы в простосердечии рязанец или пскович, туляк или вологжанин.

Он выявлял поэтическим словом как литературным инструментом исконное в русиче, глаголом жег сердца людей и беззаветно любил родину свою, которую Сергей Есенин в сыновнем чувстве отеческого воспел как «Шестую часть земли с названием кратким Русь». И это было в Пушкине органично, как соль земная, это было обетованно, неподдельно, как молоко матери. А всему мерой — его совершенство; и, конечно же, совершенство, ниспосланное свыше. Всем невдомек, что он, без клятвенных заверений, без фарисейски внешней святости чувств, абсолютно не декларируя, но запросто, едва ли не походя, обронил, а на самом деле, будто кровью расписался: «Никогда бы на свете не переменял отечества...»

Поверьте, такими изречениями не жонглируют — как говорится в народе, «красного словца ради», — но такое высекается на живой тверди резцом чувств,— кровотокащими буквами... Это также, как в минуты роковые, крестьянский вождь Пугачев в «Капитанской дочке» роняет расхожее для простолюдина, но такое расхожее, которое чрезвычайно дорогого стоит: «Казнить так казнить, миловать так миловать!»

Ну, скажите, где еще, когда и в какой другой народной гуще могло бы родиться это, сакраментальное, а в то же время по-шекспировски непостижимое во все време-

на и архисовременное вместе с тем? Согласитесь, ведь это из первых рук народной мудрости; это почерпнуто из первоисточника; это взято от животворного корня нашей родительской почвы,— от первозданного в нас...

А его «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»? — особо-то и не растиражированное вовсе? А?! Особенно-то и не избалованное вниманием строгой критики — в прошлом и сегодня?! Что это? Ужель всего лишь путевые записки праздного путешественника? Отнюдь!.. Буквально берет тебя,— нынешнего, сытого и успешного,— будто горячими щипцами хватает из того, самого-самого, жаркого у границ России,— мятущегося и мятежного края, из первой четверти девятнадцатого века, и вот сатанински терзает душу твою сегодня, именно сейчас: «Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лени в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты». Поверьте, если вдуматься хорошенько, это не может не бросить в жар и в трепет,— не может!!!

Это не может не потрясти в его «Путешествии в Арзрум» происходящим с каждым из нас будто бы сейчас, сиюминутно, и каждое слово его ранит, но, однако, и само (если можно так выразиться) оно чрезвычайно р а н и м о! Вчитайтесь, пожалуйста, и вы не пожалеете: «Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам».

И уж вовсе приводит вас в трепет то (из пушкинского прошлого), что непреходяще, живи хоть тысячу лет: «Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20000 жителей увести в плен (1795 г.) Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г.»

\* \* \*

Поищите,— со всей тщательностью пристрастного недоброжелателя,— хотя бы штрих политики, иль что-либо этакое из опусов о праздном якобы времяпрепровождении, и,— уверяю вас,— вы не обнаружите ни на гран чего-нибудь похожего. Поэт глубоко национальный записал для нас чувства ярких впечатлений человека вдумчивого и обстоятельного, готового поделиться думами об увиденном, а главное, владеющего пером острым, к тому же зрением пытливым и зорким. Причем, обладающим редкими способностями расположить к себе как к рассказчику своего читателя и своего собеседника. Иллюстрацией к тому его на редкость лаконичное: «Грузины народ воинственный»... Каково? Ну, чего же боле? Чего же? К тому же рядом с этими словами автор поставил не менее емкое, будто отшлифованное искусным ваятелем: «Они доказали свою храбрость под нашими знаменами». Ну,— уж прости меня Господи,— к чему лукавить? — комментарии, как говорится, излишни...

\* \* \*

«Путешествие в Арзрум» — это словно и еще один «Часовой пояс» бурной жизни поэта, темперамент которого многое вместили в сферу беззаветной любви к Отечеству и преданности идеалам вольности, к ценностям воспетой им Свободы, и к тому же обреченного быть опальным в Империи. Порой создается впечатление, что определенный ряд из его вершинных творений, это не пером написанное, а высеченное кремнием чувств и кресалом мысли:

*Любовь и тайная свобода  
Внушали сердцу гимн простой,  
И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа...*

Наверное, не случайно Иван Сергеевич Тургенев, сам подлинный писатель-русак, заметил однажды: «Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени». Признаться, замечание очень дорогого стоит. Очень...

Но есть в дистанции этого нового для него «часового пояса» бурной жизни часть того маршрута, на который он, как нам представляется, буквально рискнул, оставаясь и на тот момент путевой жизни о п а л ь н ы м. Первая строка его «Путешествия в Арзрум», будто знаковая, хранящая тайну этого «часового пояса», гласит: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал, таким образом, 200 верст лишних; зато увидел Ермолова».

С какой, спрашивается, стати ...эти «200 верст лишних», когда «почтовым дорожником» отклоняться от маршрута было (тем более ему, вечно опальному, тем более в полицейском государстве!) и опасно, и, как говорится, не с руки? И это (уж простите) чрезвычайно тонко продуманное автором, наловчившимся обводить вокруг пальца лукавых соглядатаев личной его жизни — «з а т о»? Есть над чем поломать голову, а? Ох уж это загадочное «зато» вместо «чтобы».

Вдумайтесь, пожалуйста. Уж если, согласно нормам синтаксиса и прочим правилам языка, строить предположение, подчиняя смысл информации факту, а (факт, это, конечно же фраза: «увидел Ермолова»), то следовало бы написать не «зато», а — «чтобы увидеть Ермолова». Не так ли?

Таким образом, в первоначальной строке уже был заложен заряд интриги энергичной фразой — «200 верст лишних», смысл которой обнаруживает для довольно не случайного путешественника зашифрованную фразу: а во имя чего этот крик? (Едва ли не очертя голову!!!) — по жутким после весенней распутицы, в хлябь и непогоду апреля месяца, по российским дорогам, где и ныне-то, в XXI веке, чуть в сторону от трассы — без трактора н е п р о л а з н о... даже на современном автомобиле?! Он же, Александр Сергеевич, слукавивший пред полицейскими надзирателями, сам же в «Путешествии» и признался: «До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось проехать не более пятидесяти верст».

С чего бы вдруг пуститься, накануне сватовства, в неведомое? Если чисто обывательски-то, а? С чего бы нетерпение оказаться на Кавказе? Или же, какое-такое тайное желание погнало его в дальнее странствие?... Однако есть, ох, есть же в этом ключе одна замета...

...Итак, спустя год (5 апреля 1830 г.) в письме к матери своей невесты Пушкин писал: «В ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? Клянусь вам, не знаю, но какая-то произвольная тоска гнала меня из Москвы, я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия». Вот так-так... стало быть! Весело, нечего сказать.

Но тем временем, поездка случилась, и он — «з а т о увидел Ермолова». Не можем ли предположить, что Пушкин сознательно утаивает более важный смысл своего якобы бегства из Москвы,— именно «на Белев»?!? Почему? Дело в том, что ровно три года тому назад, в ночь с 3 на 4 мая, на пути из Таганрога в столицу скончалась в Белеве императрица Елизавета Алексеевна.

Да-да, государыня, которой было посвящено поэтом, ряд за рядом, немало стихотворных строк: разве этого недостаточно, чтобы вывести некую формулу отношений в свете?

*Но признаюсь, под Геликоном,  
Где Касталийский рок шумел,  
Я, вдохновенный Аполлоном,  
Е л и з а в е т у в тайне пел.  
Небесного земной свидетель,*

*Воспламененною душой  
Я пел на троне добродетель  
С ее приветною красой.*

(1818)

«Не каждое лыко в строку!» — говорят в народе русском, но в нашем примере сами строки поэта ложатся в русло выстроенного нами течения живой и многоструйной легенды, а может быть, и м о л в ы. Стихотворение Пушкина посвящено лицу, попечительницей которого как раз и была государыня императрица Елизавета Алексеевна, и где возрастали молодые дарования дворянской культуры России. Такое не повторяется, как неповторим гений Пушкина, и его идеал красоты, его музы.

*В начале жизни школу помню я;  
Там нас, детей беспечных, было много;  
Неровная и резвая семья;  
Смиренная, одетая убого,  
Но видом величавая жена  
Над школою надзор хранила строго.  
Толпою нашею окружена,  
Приятным, сладким голосом, бывало,  
С младенцами беседует она.  
Ее чела я помню покрывало  
И очи светлые, как небеса,  
Но я вникал в ее беседы мало.  
Меня смущала строгая краса  
Ее чела, спокойных уст и взоров,  
И полные святыни словеса.*

\* \* \*

Не погрешим уж особенно против истины, если скажем, что однажды определившийся, — не без монаршей воли, — маршрут следования государыни императрицы Елизаветы Алексеевны (именно «на Белев») стал со временем буквально практически, — если не повседневным. Им воспользовалась Мария Федоровна, мать покойного императора Александра I, в тот же, кстати, роковой час для Елизаветы Алексеевны. По нему, но в обратном направлении, помчал Пушкин. И еще не известно с полной достоверностью, а так ли ему уж и важно было у д а л и т ь с я на Кавказ, нежели предпочесть посещение того пункта на путях судьбы, где остановилось сердце государыни, музы его, Елизаветы Алексеевны, и отлетела ее душа?!.. Ведь представишь только, и тотчас трепет охватывает душу: он прибыл в место кончины ее ровно три года спустя, — едва ли не в те же минуты, когда по православному установлению церковь наша православная поминает усопшую рабу Божию Елисавету.

А затем воспользовались тем же путем другие лица царского двора, и в частности цесаревич, будущий царь-освободитель Александр II не преминул посетить эти благословенные места.

«В 1834 году, 19 сентября, — как пишет о том исследователь истории Тульского края И. Ф. Афремов (1794—1866), — император Николай Павлович, следуя по Калужскому тракту, в первый раз удостоил своим проездом город Белев — по тракту на Орел. На возвратном пути, того же месяца, на 28 число, в первом часу ночи, государь император изволил вторично ехать через Белев по тракту на Калугу».

«1837 год, октября 18 дня, в час пополудни, государыня императрица Александра Федоровна с Великой княжной Марией Николаевной, осчастливила высочайшим

присутствием своим город Белев и остановилась в доме 1-ой гильдии купца И. Н. Бунакова. В тот же час изволила посетить Вдовый дом и в церкви онаго служить панихиду по Венценосной покойной». («Тульские губернские ведомости». 1844 г.)

(Примечание: дом, в котором скончалась Елизавета Алексеевна, «вскоре,— как пишет П. М. Мартынов (1828—1895), педагог, краевед,— был приобретен правительством; в нем оно в память почившей устроило Вдовый дом для призрения ...»)

\* \* \*

Так вот, а что если, при всем при том, не менее важной причиной сосредоточения внимания царского двора, и тем более культурной, творческой общественности, (разумеется и ученика его, А. С. Пушкина!) стало то, что Богу угодно было, чтобы в трех верстах от Белева, в с. Мишенском, родился наш Жуковский?.. Волею божией поэт, наставник будущего царя-освободителя, кудесник слова и создатель нового направления в отечественной литературе, как и в целом в искусстве — романтизма!

...Но в контексте нашего рассказа, высветим и взглянемся попристальнее в первичное, или,— если угодно,— в главенствующее, с тем чтобы еще раз воочию убедиться, что отношения Жуковский — Пушкин находятся в сфере исключительной. И не только по тому признаку, что Василий Андреевич был как бы предтечей, предъявлением в нашей литературе гения. Суть в том, что Жуковский пестовал своего ученика, открыв в подопечном гармонию духа, и духа национального; по тому еще признаку, сугубо российскому, что трагическая судьба поэта как надежды отечественной литературы свела его в могилу прежде, чем пробил час, и что именно Учитель его, Жуковский, закрыл глаза непревзойденному ученику.

Представляется, что в этом-то контексте и высвечивается примат не столько сложного, но, сколько невообразимого для ума рационального.

Во всяком случае, на протяжении многих лет, сколько бы ни пытались рациональные умы подогнать все это под хрестоматийные каноны,— все у них пока тщетно,— увы! — ведь едва ли кому из исследователей удалось заглянуть в святая святых этого феномена, будто он вне границ и рамок обыкновенного, земного, сущего.

\* \* \*

Допустим, и даже согласимся с тем, что Пушкин постиг как ученик «святая святых» литературного совершенства благодаря своему таланту и дарованиям Жуковского как педагога, добротнo истолковавшего основы учения о прекрасном, но где, когда, в какие минуты творчества он, Пушкин, усвоил Азбуку Национального Чувства? Народного? Русскости, наконец?

Вот, как нам это видится, парадигма всего силового поля творчества одного и другого гениев наших. Они на этой орбите — вдвоем в нашем Отечестве; и — превечно одиноки в космосе божественного совершенства; и некого, третьего, поставить рядом в этом пространстве.

Примеров простонародного даже близкого, а вернее — приблизительно напоминающего народное,— хоть пруд пруди. И это и в прозе, и в поэзии, и, уж тем более, в драме, но того, что только лишь по божьему промыслу — только и, единственно,— у них. А собственно, поди, Пушкина и вообще и не превозмочь, и не постичь!..

Бытует мнение, достаточно не беспочвенное, что в современных произведениях народность проявляется, преимущественно, в так называемых массовых сценах. Поэтому, избегая иллюстративного из «народных сцен» «Бориса Годунова», обратимся к изначальному в пьесе. Итак, «Кремлевские палаты», монолог Бориса:

*Ты, отче патриарх, вы все, бояре,  
Обнажена моя душа пред вами:  
Вы видели, что я приемлю власть  
Великую со страхом и смиреньем.  
Сколь тяжела обязанность моя!*

Тирада, достойная римских цезарей: в ней многое у Пушкина для нас, читателей, как бы «между строк»; царедворец знает, что вещает, только вот сам слог произносимого обнаруживает излишнюю торжественность чрезвычайно опытного интригана,— ежовые рукавицы правления уже заготовлены, и не про запас, а с умыслом. А тем временем, автор изобличает в Борисе и фарисейское:

*Наследую могущим Иоаннам —  
Наследую и ангелу-царю!..  
О, праведник! О. мой отец державный!  
Воззри с небес на слезы верных слуг  
И ниспошли тому, кого любил ты,  
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,  
Священное на власть благословенье!*

И, тотчас, как говорится, сходу, продекларировал,— клятвенно Годунов заверил... О, мир человеческих страстей и злокозны жаждущих власти, ибо все в них и не от дьявола вовсе, как нарекли, но — ч р е в н о е, природное, врожденное и тлеющее в страстях до своего часу!

*Да правлю я во славе свой народ,  
Да буду благ и праведен, как ты.*

От рождения Христа, из эпохи в эпоху, что изменилось, казалось бы, в потоке времени? А от проступка Каина? — что, в свою очередь? А между тем Борис вещает:

*От вас я жду содействия, бояре,  
Служите мне, как вы ему служили,  
Когда труды я ваши разделял,  
Не избранный еще народной волей.*

Казалось бы, все оценили, просчитали и взвесили на весах княжеско-боярской думы, как им поступить, но вложенное в уста Юродивого, Николки, оброненное им, как та же монетка-копеечка в пыль дорожную, одномоментно, будто магниевая вспышка молнии, все прояснила в сознании толпы: «...нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит». И что же? А то, что все сугубо выстроенное царедворцем с таким умением, рухнуло в одночасье.

Что здесь примечательного и в этом аспекте превосходного? — То, что Пушкин, интуитивно, а именно природой художественного мышления, ощутил, как бы осязаемо, что означает для русского образ Пресвятой Богородицы. Для православного христианина на Руси Богоматерь — это не только лишь высшая божья сила, где-то там на Небесах, но — Заступница, но — Охранительница и Любовь нескончаемая — ныне, присно и во веки веков. С тем рождается русич, с тем и уходит... Но в этом и высшее счастье его, православного по гроб и во гробе.

\* \* \*

Наверное, можно бы было привести много других прямых и опосредованных фраз, в том числе и сказанных все тем же Николкой-юродивым, но вот эта,— (гениальное в крошечном),— подсказана самой музой поэта; и вырвалось это со дна души, из глубинного в сознании русского поэта. В этом было и есть высшее совершенство,— то есть, его народность!